



Лев АЛЬТМАРК родился в 1953 году в городе Брянске. После окончания Института транспортного машиностроения работал инженером, учителем, журналистом. В 1990 году поступил в Литературный институт им. Горького на семинар А.И. Приставкина. После окончания института с 1995 года живёт в Израиле.

Первая серьёзная публикация — в тульском альманахе «Ясная поляна» в 1992 году. После этого — публикации в журналах «Юность», «Дружба народов», «Нева», «Российский колокол», «Новый Ренессанс» и в других.

Первая книга вышла в 1999 году. К сегодняшнему дню выпущено шесть поэтических сборников и девять книг прозы. Был участником литературных фестивалей в Македонии и Хорватии, книжных ярмарок в Иерусалиме и Лейпциге. Входит в Международную Гильдию Писателей. Является членом Союзов писателей Израиля и России. В настоящее время готовит к изданию книгу избранных рассказов на немецком языке.

ИСААК, АВРААМ ... И ИОСИФ БРОДСКИЙ

Покушаться на священных коров, конечно же, чревато. На то они и священные коровы, чтобы всё, что они ни сделали, воспринималось с бешеным восторгом. Как это их почитатели и делают. Особенно нелегко стать священной коровой в поэзии, где каждый пишущий, как минимум, претендует на место на Олимпе. Но попадают туда единицы, хотя у подножия этой пресловутой горы толпятся многие.

Иосиф Бродский — счастливчик, которому повезло. И повезло потому, что сумел протоптать свою дорожку к успеху, безусловно опираясь на опыт своих литературных предшественников, но главное его отличие от других в том, что его строка узнаваема и характерна, что само по себе уже является признаком талантливости и неординарности. Многим маститым это так и не удалось.

Внимание к его творчеству не ослабевает, и каждую неудачу, а таковые, несомненно, есть, карают более жестоко и немилосердно. Будучи в статусе



священной коровы, понижать уровень планки не допускается. Иначе те же фанаты заклюют.

О жанре «большого стихотворения» я услышал впервые применительно к Бродскому. Само по себе это вызвало ряд вопросов. Что это за поэтическая форма? Чем она отличается, скажем, от поэмы или романа в стихах? Может, тут какая-то особая стилистика или необычная форма изложения? Как правило, стихи Бродского и так достаточно велики, многословны и требуют достаточного читательского труда для их прочтения и осмысления. Но... большое стихотворение?

Чтение «больших» стихов Бродского, увы, ответа не дало. Более того, заставило задуматься ещё глубже, сравнивая его «короткие», действительно, замечательные стихи с этими новыми — длинными до бесконечности, когда перелистываешь странички сборника и высматриваешь, сколько их ещё осталось, этих страничек?

Пример тому, «Исаак и Авраам» — стихотворение или поэма? — написанное в 1963 году, когда автору было 23 года. Сразу признаюсь, что такого беспомощного и бессвязного текста, тиражируемого солидными и уважаемыми издательствами, я ещё не встречал.

Может быть, это только проба пера перед будущими гениальными творениями молодого, ещё не оперившегося поэта? Вроде бы нет. В 23 года поэт, как правило, уже обязан иметь систему сложившихся взглядов, собственную стилистику и, главное, приоритеты в творчестве. К своим 23 годам Пушкин уже был автором «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана». Я беру лишь крупные поэтические формы у Александра Сергеевича... Даже не говорю про Лермонтова, Есенина и других менее именитых, едва переваливших этот благословенный возраст.

Но вернусь к «Исааку и Аврааму». Первое, что вызвало мою негативную реакцию после прочтения стихотворения, — это трактовка Бродским библейской сюжетной линии. И дело вовсе не в том, что описать лучше, чем это изложено в Библии, вряд ли возможно. Понятно, что автор пытается перенести известную историю жертвоприношения Авраама в суровые российские реалии, но... легитимно ли это? Ведь в данном случае необходимо сочетать не только географические и временные рамки, но и психологию человека библейского со всеми его представлениями об окружающем мире и человека современного, имеющего совершенно иные приоритеты и ценности. Необходимость переноса должна быть обоснована и необходима, а этого я тут не



встретил. И вряд ли в данном случае закономерна параллель с библейскими сюжетами на полотнах средневековых мастеров в антураже их времени. Тамошние персонажи были всё-таки ближе и по психологии, и по мироощущениям к своим библейским прообразам.

Но перейдём непосредственно к тексту. Начинается стихотворение как-то неубедительно и невнятно:

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».
 «Сейчас иду». — Ответ средь веток мокрых
 ныряет под ночным густым дождем,
 как быстрый плот — туда, где гаснет окрик.

По-русски Исаак теряет звук.
 Ни тень его, ни дух (стрела в излете)
 не ропщут против буквы вместо двух
 в пустых устах (в его последней плоти).
 Другой здесь нет — пойдя ищи-свищи.
 И этой также — капли, крошки, малость.
 Исак вообще огарок той свечи,
 что всеми Исааком прежде звалась...

Если первое четверостишие ещё как-то понятно, то дальше уже начинается какое-то смешение неясных образов, аналогий и вообще бессвязных фраз. Почему Исаак должен терять звук «по-русски»? Только ли из-за переноса в другую реальность? А дальше и вовсе невнятица со стрелами, буквами, крошками, каплями, плотью, огарками... Может быть, эта загадка разрешится дальше по тексту?

После такой странной характеристики Исаака следует не менее странное описание Авраама:

Совсем иное дело — Авраам.
 Холмы, кусты, врагов, друзей составить
 в одну толпу, кладбища, ветки, храм —
 и всех потом к нему воззвать заставить —
 ответа им не будет. Будто слух
 от мозга заслонился стенкой красной



с тех пор, как он утратил гласный звук
и странно изменился шум согласной.
От сих потерь он, вместо града стрел,
в ответ им шлет молчанье горла, мозга.
Здесь не свеча — здесь целый куст сгорел.
Пук хвороста. К чему здесь ведра воска?

Кто-то меня обвинит, что, мол, надёргал отдельных стрóf из текста и теперь пытается что-то выяснить из них без связи с остальным текстом. Смею уверить, что сия невнятица не единична в стихотворении, потому что дальше она лишь усугубляется, чему подтверждение весь последующий многостраничный текст.

Техника стихосложения за века существования русского стиха худо-бедно выработала некий свод правил, которого придерживаются поэты, даже невзирая на все свои модернистские и авангардные изыски. И причина тому не читательский консерватизм, а элементарное желание не остаться невос требованным. Оно-то и диктует жёсткие правила сочинительства. Нарушать их, конечно, не запрещается, но вероятность попадания в десятку при этом невелика.

Тем не менее, Бродский чрезвычайно популярен. Иногда его стихи чисты и прозрачны настолько, что после прочтения их действительно становится ясно, что это тексты великие, писанные настоящим мастером, но... не в данном случае. Видимо, это — всего лишь попытки в тонне словесной руды найти крупички настоящего поэтического золота. Но уж коли они не остались в черновиках, а широко публикуются, то и заслуживают не менее пристального внимания, нежели тексты удачные и прекрасные в своей простоте и ясности.

Однако пойдём по тексту дальше. Многословные уговоры Авраама продолжать путь и повторяющиеся вопросы о дровах и труте, не несущие никакой смысловой нагрузки, за исключением, может быть, нагнетания какого-то непонятного грядущего ужаса, сменяются описанием пейзажей — реальных, нет, скорее воображаемых, в которых намешаны пустынные барханы с «лесной осокой», превращающиеся в воображении персонажей в какие-то леса среднерусской полосы, морские волны и так далее...

Волна пришла и вновь уходит вспять.
Как долгий разговор, смолкает сразу,



от берега отняв песчинку, пядь
 остатком мысли — нет, остатком фразы.
 Но нет здесь берега, только мелкий след
 двух путников рождает сходство с кромкой
 песка прибрежной, — только сбоку нет
 прибрежной пенной ленты — нет, хоть скромной.
 Нет, здесь валы темны, светлы, черны.
 Здесь море справа, слева, сзади, всюду.
 И путники сии — челны, челны,
 вода глотает след, вздымает судно...

На этом фоне — неожиданное авторское отступление, которое, может быть, могло стать отдельным самостоятельным стихотворением, но здесь оно явно неуместно:

Еще я помню: есть одна гора.
 Там есть тропа, цветущих вишен арка
 висит над ней, и пар плывет с утра:
 там озеро в ее подножьи, *largo*
 волна шуршит и слышен шум травы.
 Тропа пуста, там нет следов часами.
 На ней всегда лежит лишь тень листвы,
 а осенью — ложатся листья сами.
 Крадется пар, вдали блестит мысок,
 беленый ствол грызут лесные мыши,
 и ветви, что всегда глядят в песок,
 склоняются к нему все ближе, ниже.
 Как будто жаждут знать, что стало тут,
 в песке тропы с тенями их родными,
 глядят в упор, и как-то вниз растут,
 сливаясь на тропе навечно с ними.
 Пчела жужжит, блестит озерный круг,
 плывет луна меж тонких веток ночи,
 тень листьев двух, как цифра 8, вдруг
 в безумный счет свергает быстро рощу...



И тут неожиданно ещё раз обращаешь внимание на непомерную величину текста. Автором написано уже достаточно строк, а развития событий, динамики сюжета всё ещё нет. Персонажи медленно бредут по какой-то сконструированной пустынно-лесной и морской местности, переговариваются о чём-то несущественном, но всё это статично и неподвижно.

И тут возникает третий полноправный персонаж действия, которому будет посвящено немало строк, — куст. Для Бродского он неожиданно становится самым динамичным и живым персонажем, пожалуй, более живым, нежели Авраам с Исааком. Более того, символом чего-то грядущего.

По сути дела, куст похож на все.
На тень шатра, на грозный взрыв, на ризу,
на дельты рек, на луч, на колесо –
но только ось его придется книзу.
С ладонью сходен, сходен с плотью всей.
При беглом взгляде ленты вен мелькают.
С народом сходен — весь его рассей,
но он со свистом вновь свой ряд смыкает.
С ладонью сходен, сходен с сотней рук.
(Со всею плотью — нет в нем только речи,
но тот же рост, но тот же мир вокруг).
Весною в нем повсюду свечи, свечи...

Фантазия автора безгранична. С какой-то босховской скрупулёзностью он прописывает детали своих аллюзий по поводу куста, и нет для него в пейзаже ничего более значимого. Авраам с великим трудом отвлекает от разглядывания куста ведомого на закланье Исаака.

Видимо, догадываясь, что нужно каким-то образом разъяснить читателю интерес Исаака к кусту, Бродский принимает за совсем уже словесное рукоделие, с трудом поддающееся логическому объяснению. Скорее, это опять какие-то аллюзии, правда, очень невнятные и фантастические:

Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.
Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире.



У ветки «К» отростков только два,
 а ветка «У» — всего с одним суставом.
 Но вот урок: пришла пора слова
 учить по форме букв, в ущерб составам...

Какое отношение библейский куст имеет к буквам русского алфавита? Похож? Предположим с огромной натяжкой. Но почему в данный момент, когда намечается что-то грандиозное и судьбоносное для Исаака, его одолевают подобные размышления? Совершенно неясно. А ведь это вовсе не какая-то мельком проскочившая мысль, дальше больше. Но об этом чуть позже, а пока — привал героев.

Они сидят. Меж них горит костер.
 Глаза слезятся, дым клубится едкий,
 а искры прочь летят в ночной простор.
 Ломает Исаак сухие ветки.
 Став на колени, их, склоняясь вперед,
 подбросить хочет: пламя стало углым.
 Но за руку его отец берет:
 «Оставь его, нам хворост нужен утром.
 Нарви травы». — Устало Исаак
 встает и, шевеля с трудом ногами,
 бредет в барханы, где бездонный мрак
 со всех сторон, а сзади гаснет пламя.
 Отломленные ветки мыслят: смерть
 настигла их — теперь уж только время
 разлучит их, не то, что плоть, а твердь;
 однако, здесь их ждет иное время.
 Отломленные ветви мертвым сном
 почили здесь — в песке нагретом, светлом.
 Но им еще придется стать огнем,
 а вслед за этим новой плотью — пеплом.
 И лишь когда весь пепел в пыль сотрут
 лавины сих песчаных орд и множеств, —
 тогда они, должно быть, впрямь умрут,



исчезнув, сгинув, канув, изничтожась.
Смерть разная и эти ветви ждет.
Отставшая от леса стая волчья
несется меж ночных пустот, пустот,
и мечутся во мраке ветви молча.
Вернулся Исаак, неся траву.
На пальцы Авраам накинуд тряпку:
«Поддай сюда. Сейчас ее порву».
И быстро стал крошить в огонь охапку.

И опять целый ворох строф, словно «трава в пустыне», сгорает в огне авторского многословия. Цель написания этих строф совершенно непонятна. Для дальнейшего развития сюжета они ничего нового не дают, разве что какое-то смутное и туманное предчувствие всепожирающего жертвенного костра.

Но тут автор, наконец, решает внести в текст некоторое логическое обоснование походу героев в пустыню-лес-море и вкладывает в уста Авраама слова о том, что идут они, чтобы принести в жертву Вс-вышнему ягнёнка, которого отыщут по пути. Притом это сопровождается почему-то испытанием принесённого с собой вина, приземляющего образ прародителя Авраама до банального российского выпивохи, сумевшего изречь сие, лишь «отерши рот коротким жестом пьяниц». Можно, на мой взгляд, придумать объяснение или оправдание всему, что делают герои, но эта деталь для библейских персонажей явно избыточна... А дальше — сон Исаака, в котором опять возникает куст со всеми его алфавитными подробностями:

Кто: Куст. Что: Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильнее.
Лишь «С» и «Т» — в другом каком-то мире.
Пред ним все ветви, все пути души
смыкаются, друг друга бьют, толпятся.
В глубоком сне, во тьме, в сплошной тиши,
сгибаются, мелькают, ввысь стремятся.
И вот пред ним иголку куст вознес.
Он видит дальше: там, где смутно, мглисто



тот хворост, что он сам сюда принес,
 срастается с живою веткой быстро.
 И ветви все длинней, длинней, длинней,
 к его лицу листва все ближе, ближе.
 Земля блестит, и пышный куст над ней
 возносится пред ним во тьму все выше.
 Что ж «С» и «Т» — а КУст пронзает хмарь.
 Что ж «С» и «Т» — все ветви рвутся в танец.
 Но вот он понял: «Т» — алтарь, алтарь,
 А «С» лежит на нем, как в путях агнец.
 Так вот что КУСТ: К, У, и С, и Т.
 Порывы ветра резко ветви кренят
 во все концы, но встреча им в кресте,
 где буква «Т» все пять одна заменит.
 Не только «С» придется там уснуть,
 не только «У» делиться после снами.
 Лишь верхней планке стоит вниз скользнуть,
 не буква «Т» — а тотчас КРЕСТ пред нами.
 И ветви, видит он, длинней, длинней.
 И вот они его в себя прияли.
 Земля блестит — и он плывет над ней.
 Горит звезда...

Неслучайно цитирую Бродского такими большими фрагментами. Читая стихотворение, постоянно ощущаешь, как от тебя ускользает какая-то мысль, которую автор пытается донести до тебя, а ты, читатель, по невнимательности или по скудоумию никак её не постигнешь. Буду рад, если какой-то более искушённый читатель, откроет мне глаза на потаённую суть, дабы я увидел стройную и величественную картину сего повествования.

Тем временем, действие подходит к кульминационному моменту — несостоявшемуся жертвоприношению Исаака. Но и здесь то, что можно описать в десяток строк, — а в каноническом библейском тексте так оно и есть, — Бродский умудряется утяжелить подробностями, едва ли приносящими дополнительную зрелищность происходящему. Это и шерсть, брошенная в костёр и распространяющая вонь, и описание ножа, которым прежде резали хлеб, а теперь им будет зарезан Исаак... Хорошо, что вовремя из-за бархана появля-



ется Ангел, который вместо того, чтобы просто отвести руку с занесённым ножом, завод длинный и довольно нравоучительный монолог:

«Довольно, Авраам. Всему конец.
Конец всему, и небу то отрадно,
что ты рискнул, — хоть жертве ты отец.
Ну, с этим все. Теперь пойдем обратно.
Пойдем туда, где все сейчас грустят.
Пусть они узрят, что в мире зла нет.
Пойдем туда, где реки все блестят,
как твой кинжал, но плоть ничью не ранят.
Пойдем туда, где ждут твои стада
травы иной, чем та, что здесь; где снится
твоим шатрам тот день, число когда
твоих детей с числом песка сравнится.
Еще я помню: есть одна гора.
В ее подножьи есть ручей, поляна.
Оттуда пар ползет наверх с утра.
Всегда шумит на склоне роща рьяно.
Внизу трава из русла шумно пьет.
Приходит ветер — роща быстро гнется.
Ее листва в сырой земле гниет,
потом весной опять наверх вернется.
На том стоит у листьев сходство тут.
Пройдут года — они не сменят вида.
Стоят стволы, меж них кусты растут.
Бескрайних туч вверху несется свита.
И сонмы звезд блестят во тьме ночей,
небесный свод покрывши часто, густо.
В густой траве шумит волной ручей,
и пар в ночи растет по форме русла.
Пойдем туда, где все кусты молчат.
Где нет сухих ветвей, где птицы свили
гнездо из трав. А ветви, что торчат
порой в кострах — так то с кустов, живые.



Твой мозг сейчас, как туча, застит мрак.
 Открой глаза — здесь смерти нет в помине.
 Здесь каждый куст — взгляни — стоит, как знак
 стремленья вверх среди равнин пустыни.
 Открой глаза: небесный куст в цвету.
 Взгляни туда: он ждет, чтоб ты ответил.
 Ответь же, Авраам, его листу —
 ответь же мне — идем»

Думаю, что от такой высокопарной и возвышенной тирады в мятущейся душе Авраама не осталось и капли сомнения в том, что он пытался совершить необдуманый поступок, но... праведник на то и праведник, чтобы все эти бесконечные словеса не поселили в его душе раздражение и неприязнь к посланцу Вс-вышнего.

Но ангельский монолог на последних словах цитаты ещё не закончен. Он будет продолжаться до тех пор, пока словесный водопад неожиданно не иссякнет, и Ангел в завершение почему-то перейдёт на сухой телеграфный стиль:

Довольно, Авраам. Испытан. Все.
 Конец всему. Все ясно. Кончим. Точка.
 Довольно, Авраам. Открой лицо.
 Достаточно. Теперь все ясно точно...

Кстати, сколько, на ваш взгляд, в этой строфе слов-повторов, без которых прекрасно можно было бы обойтись? А сколько подобных повторов по всему весьма немалому объёму текста?

Далее по сюжету, Ангел уводит Авраама и Исаака из пустыни к людям. Вот тут уже авторская фантазия разыгрывается не на шутку, словно автор для убедительности стремится перенасытить изображаемую картинку множеством мелких деталей, и сам же в них увязает, с трудом распутывая самолично сплетённые узелки:

Стоят шатры, и тьма овец везде.
 Их тучи здесь, — нельзя их счесть. К тому же
 они столпились здесь, как тучи те,



что отразились тут же рядом в луже.
Дымят костры, летают сотни птиц.
Грызутся псы, костей в котлах им вдоволь.
Стекает пот с горячих красных лиц.
Со всех сторон несется громкий говор.
На склонах овцы. Рядом тени туч.
Они ползут навстречу: солнце встало.
Свергаются ручьи с блестящих круч.
Верблюды там в тени лежат устало.
Шумят костры, летают тыщи мух.
В толпе овец оса жужжит невнятно.
Стучит топор. С горы глядит пастух:
шатры лежат в долине, словно пятна.
Сквозь щелку входа виден ком земли.
Снаружи в щель заметны руки женщин.
Сочится пыль и свет во все углы.
Здесь все полно щелей, просветов, трещин...

Но написание широкого пейзажного полотна, видно, Бродского не устраивает — ему более близки детали. И тут он окончательно увязает:

Никто не знает трещин, как доска
(любых пород — из самых прочных, лучших, —
пускай она толста, длинна, узка),
когда разлад начнется между сучьев.
В сухой доске обычно трещин тьма.
Но это все пустяк, что есть снаружи.
Зато внутри — смола сошла с ума,
внутри нее дела гораздо хуже.
Смола засохла, стала паром вся,
ушла наружу. В то же время место,
оставленное ей, ползет кося, —
куда, — лишь одному ему известно.
Вонзаешь нож (надрез едва ль глубок)
и чувствуешь, что он уж в чей-то власти.



Доска его упорно тянет вбок
 и колется внезапно на две части.
 А если ей удастся той же тьмой
 и сучья скрыть, то бедный нож невольно,
 до этих пор всегда такой прямой,
 вдруг быстро начинает резать волны.
 Все трещины внутри сродни кусту,
 сплетаются, толкутся, тонут в спорах,
 одна из них всегда твердит: «расту»,
 и прах смолы пылится в темных порах.
 Снаружи он как будто снегом скрыт.
 Одна или две — чернеют, словно окна.
 Однако, «вход» в сей дом со «стенкой» слит.
 Поземка намела сучки, волокна.
 От взора скрыт и крепко заперт вход.
 Но нож всегда (внутри, под ней, над нею)
 останется слугою двух господ:
 ладони и доски — и кто сильнее...

Возможно, подобное «лирическое отступление» о доске и могло бы быть самоценным как отдельное стихотворение, но в контексте, когда герои, ведомые Ангелом, спускаются к людям в их головах, в их сознании наверняка совершенно иное. Да и вкладывать подобные мысли в головы тех, кто их встречает в поселении, по меньшей мере, кощунственно. Едва ли человека, в сознании которого произошёл такой колоссальный, даже космический переворот, будучи в подобной ситуации интересовать какие-то банальные доски...

Признаюсь откровенно, где-то с этого момента продолжать чтение мне стало уже скучно. Что можно сказать ещё? Какие дополнительные краски можно внести, когда герои достигли вершины своего исторического предзначения, в полной мере осознав величие и могущество Вс-вышнего?

Но Бродский не был бы Бродским, если бы так легко расстался со своими героями. Он продолжает начатые в начале стихотворения уговоры Авраама продолжать движение к людям, будто Исаак противится этому. Приводить цитату смысла не имеет, потому что там почти точь-в-точь те же слова, что и в начале. Следом за этим перепев библейского фрагмента о повелении Вс-вышнего вставить в имена переродившихся героев дополнительные буквы:



имя «Аврам» прекращается в «Авраам», а «Исак» в «Исаак». Хотя этими новыми именами Бродский зовёт героев с самого начала.

И всё-таки не удержусь от цитаты о даровании дополнительных букв:

По-русски Исаак теряет звук.
Зато приобретает массу качеств,
которые за «букву вместо двух»
оплачивают втрое, в буквах прячась.
По-русски «И» — всего простой союз,
который числа действий в речи множит
(похожий в математике на плюс),
однако, он не знает, кто их сложит.
(Но суммы нам не вложено в уста.
Для этого: на свете нету звука).
Что значит «С», мы знаем из КУСТА:
«С» — это жертва, связанная туго.
А буква «А» — среди этих букв старик,
союз, чтоб между слов был звук отдельный.
По существу же, — это страшный крик,
младенческий, прискорбный, вой смертельный.
И если сдвоить, строить: ААА,
сложить бы воедино эти звуки,
которые должны делить слова,
то в сумме будет вопль страшной муки:
«Объяло пламя все суставы «К»
и к одинокой «А» стремится прямо».
Но не вздымает нож ничья рука,
чтоб кончить муку, нет вблизи Аврама.
Пол-имени еще в устах торчит.
Другую половину пламя прячет.
И СноВА жертВА на огне Кричит:
Вот то, что «ИСААК» по-русски значит...

Собственно говоря, на этом библейский сюжет про Авраама и Исаака можно было бы закончить, ибо прибавить тут и в самом деле больше нечего, но Бродский вдруг переходит в иную, неожиданную плоскость, помещая



своих персонажей, а точнее, просто уходя от них в совершенно необычный и великолепный поэтический фрагмент, ради которого, наверное, всё же имеет смысл дочитать текст до конца.

Как в лучших своих стихотворениях, он рисует пронзительную российскую картинку, очень знакомую каждому из нас и близкую, в отличие от не совсем удавшейся библейской эпопеи. И этот фрагмент, вернее, окончание стихотворения я хотел бы привести полностью:

Дождь льется непрерывно. Вниз вода
несется по стволам, смывает копоть.
В самой листве весенней, как всегда,
намного больше солнца, чем должно быть
в июньских листьях, — лето здесь видней
вдвойне, — хоть вся трава бледнее летней.
Но там, где тень листвы висит над ней,
она уж не уступит той, последней.
В тени стволов ясней видна земля,
видней в ней то, что в ярком свете слабо.
Бесшумный поезд мчится сквозь поля,
наклонные сначала к рельсам справа,
а после — слева — утром, ночью, днем,
бесцветный дым клубами трется оземь —
и кажется вдруг тем, кто скрылся в нем,
что мчит он без конца сквозь цифру 8.
Он режет — по оси — ее венцы,
что сел, полей, оград, оврагов полны.
По сторонам — от рельс — во все концы
разрубленные к небу мчатся волны.
Сквозь цифру 8 — крылья ветряка,
сквозь лопасти стальных винтов небесных,
он мчит вперед — его ведет рука,
и сноп лучей скользит в лучах окрестных.
Такой же сноп запрятан в нем самом,
но он с какой-то страстью, страстью жадной,
в прожекторе охвачен мертвым сном:



как сноп жгутом, он связан стенкой задней.
Летит состав, во тьме не видно лиц.
Зато холмы — холмы вокруг не мнимы,
и волны от пути то вверх, то вниз
несутся, как лучи от ламп равнины.
Дождь хлещет непрестанно, Все блестит.
Завеса подворотни, окна косит,
по желобу свергаясь вниз, свистит.
Намокшие углы дома возносятся.
Горит свеча всего в одном окне.
Холодный дождь стучит по тонкой раме.
Как будто под водой, на самом дне
трепещет в темноте и жжется пламя.
Оно горит, хоть все к тому, чтоб свет
угас бы здесь, чтоб стал незрим, бесплотен.
Здесь в темноте нигде прохожих нет,
кирпич стены молчит в стене напротив.
Двор заперт, дворник запил, ночь пуста.
Раскачивает дождь замок из стали.
Горит свеча, и виден край листа.
Засовы, как вода, огонь обстали.
Задвижек волны, темный мрак щеколд,
на дне — ключи — медузы, в мерном хоре
поют крюки, защелки, цепи, болт:
все это — только море, только море.
И все ж она стремится свой свет во тьму,
призыв к себе (сквозь дождь, кирпич, сквозь доску).
К себе ль? — О нет, сплошной призыв к тому,
что в ней горит. Должно быть, к воску, к воску.
Забор дощатый. Три замка в дверях.
В нем нет щелей. Отсюда ключ не вынут.
Со всех сторон царит бездонный мрак.
Открой окно — и тотчас волны хлынут.
Засов гремит и доступ к ней закрыт.
(Рукой замок в бессильной злобе стисни.)
И все-таки она горит, горит.



Но пожирает нечто, больше жизни.
 Пришла лиса, блестят глаза в окне.
 Пред ней стекло, как волны, блики гасит.
 Она глядит — горит свеча на дне
 и длинными тенями стены красит.
 Пришла лиса, глядит из-за плеча.
 Чуть-чуть свистит, и что-то слышно в свисте
 сродни словам. И здесь горит свеча.
 Подсвечник украшают пчелы, листья.
 Повсюду пчелы, крылья, пыль, цветы,
 а в самом центре в медном том пейзаже
 корзина есть, и в ней лежат плоды,
 которые в чеканке меньше даже
 семян из груш. — Но сам язык свечи,
 забыв о том, что можно звать спасеньем,
 дрожит над ней и ждет конца в ночи,
 как летний лист в пустом лесу осеннем...

К написанию этой статьи я шёл долго, хоть и написал её всего за несколько дней. Многократно перечитывая «Исаака и Авраама», я всё никак не мог понять, почему выделил для себя именно это произведение из достаточно обширного корпуса «больших стихотворений» Бродского. Может быть, из-за того, что всегда относился к литературным работам, написанным по библейским сюжетам, достаточно внимательно, ревниво выискивая в них противоречия и несоответствия Книге Книг? Едва ли я дотошным инквизиторам выщеживал из них зёрна ереси, хоть мне и казалось всё-таки крамольным отступать от основной канвы и привносить в них плоды собственных незрелых размышлений.

Именно с этой точки зрения я и рассматривал сочинение Бродского. Само по себе нобелевское лауреатство ничего в данном случае не значило, за исключением, может быть, того, что своим поиском проколов и ошибок я заслужу не один ушат грязи от его верных почитателей. Впрочем, авторство всегда второстепенно, если сочинение слабо, косноязычно и не находится на том уровне, которого от поэта ожидаешь.

Но, может быть, я всё же ошибаюсь и после первой непонравившейся строфы начинаю относиться предвзято ко всему стихотворению? Как человек мнительный и не доверяющий собственным субъективным впечатлениям, я



многokrатно пытался разыскать мнения авторитетных критиков по поводу «Исаака и Авраама» и, к сожалению, ничего заслуживающего внимания не нашёл. Интернет, знающий всё и обо всём на свете, оказался до обидного пуст, хотя статей, посвящённых Бродскому, там не счесть. Зато нашёл несколько интересных мыслей у Якова Гордина в статье «Жизнь на воздушном шаре» (Азбука-классика, 2001), приоткрывающих некую завесу тайны над творчеством нобелевского лауреата:

«"Большие стихотворения" Бродского в своём интонационном апогее звучат, как заклинания когда не важен прямой смысл произносимого. Истинный смысл лежит глубже лексического ряда...»

«Мощный эффект воздействия на читателей и слушателей достигался сочетанием поэтического распева с предельным вниманием к детали, насыщенностью стиха конкретными предметами. В этом отношении Бродский следовал за почитаемыми им античными авторами, для которых, как он утверждал, «основным способом познания мира было перечисление деталей, из которых он — мир — состоял...»

«Основная часть значительных по размеру произведений Бродского была написана в России. Именно здесь, где метафизическая драма жизни неизбежно насыщалась чисто бытовой угрозой, наступлением злобной пошлости, ему необходим был, как способ защиты этот яростный интонационный напор, этот шквал предметов, который он швырял в лицо враждебному миру...»

С этими утверждениями можно соглашаться и не соглашаться. На уровне простого любителя поэзии, а именно таковыми и является большинство из нас, такой подход явно не годится. Поэзия для большинства — это, прежде всего, ясная метафоричность, красота стиля и образа, постигаемые при первом прочтении, умение заставить сопереживать и проникаться авторской болью, настроением, радостью. Не очень уверен, что каждый читатель для растолкования стихотворения станет обращаться к дополнительной литературе.

И несмотря ни на что, Бродский великий поэт, написавший немало замечательных стихов, вошедших в сокровищницу мировой литературы. Как каждый великий, он вызывает массу мнений — от слепого обожания до полного отрицания. Но так, наверное, и должно быть — настоящая поэзия всегда спорна, неоднозначна, а главное, никого не оставляет равнодушным.

(Все цитаты приведены в авторской орфографии)

28.07–02.08.2015

